

Павел Владимирович Засодимский

Забывтый мир



Павел Засодимский

Забывтый мир

«Public Domain»

1890

Засодимский П. В.

Забытый мир / П. В. Засодимский — «Public Domain»,
1890

«В феврале 1856 г. я поступил своекоштным воспитанником в так называемый дворянский пансион, находившийся при вологодской гимназии, и оставил его в июне 1863 г., по окончании гимназического курса. Таким образом, мое пребывание в этом пансионе охватывает период времени немного более семи лет. Я поступил в гимназию в ту темную, глухую пору, когда наш пансион представлял собой тесный, замкнутый мирок...»

Павел Засодимский

Забытый мир

(Из пансионских воспоминаний)

В феврале 1856 г. я поступил своекоштным воспитанником в так называемый дворянский пансион, находившийся при вологодской гимназии, и оставил его в июне 1863 г., по окончании гимназического курса. Таким образом, мое пребывание в этом пансионе охватывает период времени немного более семи лет. Я поступил в гимназию в ту темную, глухую пору, когда наш пансион представлял собой тесный, замкнутый мирок...

Строители гимназии, говорят, хотели первоначально придать зданию вид буквы П, но, по недостатку денежных средств или по чему-нибудь иному, не достроили третьей стороны здания, и поэтому вместо П получилась несколько неправильная буква Г. Одной стороной гимназия наша выходила на улицу, а фасадом – на площадь, так называемый «плац-парад» или «парадное место», где происходили солдатские учения и куда заходили иногда соблазненные зеленой муравой лошади и коровы. На противоположной стороне площади, vis-à-vis с гимназией, стоял (да стоит и поныне) губернаторский дом и рядом с ним духовная семинария. С третьей стороны площади некогда находилась гауптвахта, но в 60-х годах она за ненадобностью была уничтожена и на ее месте воздвигнут деревянный сарай для городского театра.

Высота здания, большие окна и фасад с колоннами придавали нашей гимназии весьма внушительный вид.

При гимназии находился довольно большой, густой сад, бывший во владении директора, который, впрочем, им почти не пользовался. В пользовании же пансионеров находился двор, усыпанный песком и окаймленный с трех сторон аллеями тощих березок, не дававших ни малейшей тени. В аллеях стояло несколько скамеек. На этом дворе в летнюю пору пансионеры играли в мяч, в лапту, в городки, свайку и т. п.

Спальни состояли из трех комнат – для младшего, среднего и старшего возраста – и содержались в безукоризненной опрятности и чистоте. На каждую койку полагались: матрас, простыня, байковое одеяло и подушка; у каждой койки стоял табурет. Гувернер спал в средней комнате. По ночам в спальне горели свечи. Дежурный сторож в валенках, как призрак, неслышно бродил по спальне, снимал со свечей, прикрывал спящих, если те во сне сбрасывали с себя одеяло, а остальное время дремал на табурете у стены.

В 6 часов утра, по приказанию гувернера, сторож обходил спальни, громко звоня в большой колокольчик. Этот звон колокольчика был чрезвычайно неприятен – особенно в темную, зимнюю пору, когда в спальне бывало довольно свежо и хотелось еще спать. Если после звонка кто-нибудь продолжал нежиться, сладко потягиваться или же снова засыпал, с того гувернер без церемонии сдергивал одеяло, и тогда уж поневоле приходилось вскакивать и одеваться.

Здесь кстати заметим, что пансионеры дома носили куртки с красными воротниками, а при выходе из гимназии надевали однобортный мундир с красным стоячим воротником, с золотым позументом и с красными же обшлагами рукавов. Фуражка с красным околышем и синевато-серого цвета шинель, «подбитая ветром», довершали наш костюм. Ни калош, ни более теплого одеяния зимой – не полагалось. Нас во многих отношениях вели по-спартански. Отмечаю эту черту старых школьных порядков, как заслуживающую одобрения, по моему мнению.

За красный воротник и за красные обшлага рукавов уличные мальчишки звали нас в насмешку «красноперыми окунями». Этот эпитет, конечно, не представлял собой ничего предосудительного, но помню, что в то время почему-то он казался нам крайне обидным.

У пансионеров первых четырех классов волосы стриглись низко, под гребенку; воспитанники же старших классов могли оставлять спереди и сбоку волосы подлиннее. Начальство не разрешало подобные вольности, но лишь терпело их, смотря на них сквозь пальцы... В известное время, по приказанию гувернера, к нам в гардеробную являлся унтер-офицер, старичок, с разноцветными нашивками на рукаве, и исправлял должность цирюльника. Желавший сохранить спереди для красоты два-три вихра обязательно был должен незаметным образом сунуть унтер-офицеру гривенник или пятачок. Впрочем, в течение первых трех-четырех лет моего пребывания в пансионе ученики VII класса носили сравнительно длинные волосы.

Зала для занятий была большая, продолговатая, высокая комната; стены ее были голые, снизу до половины окрашенные в темно-зеленую краску, а выше – серовато-желтая. Только на одной стене висело расписание уроков, да в передней части залы, в нише, помещался в широкой, золоченой раме художественно написанный большой образ Спасителя, благословляющего хлеб и вино. Неподалеку от образа стояла гувернерская конторка и возле нее – кресло для гувернера.

В этих стенах прошли семь лет моей жизни – семь лет из того возраста, когда все впечатления бывают так живы и ярки, и понятно, что незатейливая, полуказарменная обстановка пансионской залы, как топором зарубленная, глубоко врезалась в моей памяти. Много было пережито в этих стенах... Здесь я узнал и горе новичка, тоску по родном доме, по деревенской свободе, и блаженные минуты горячих признаний в дружбе и в братской любви, и радость по случаю удачно сданных экзаменов и близких каникул, и темные страхи перед единицами и двойками и дух захватывающие опасения угрожающих наказаний...

Утром, около семи часов, по приходе из спальни в залу, один из воспитанников по очереди читал молитву, после чего мы садились за занятия – зимою при свечах. В половине восьмого сторожа начинали накрывать на стол; в зале распространялся вкусный запах ржаного хлеба. В это время гувернер заканчивал рапорт за день своего дежурства; те, кто были вписаны в рапорт за шалости или вообще за дурное поведение, ожидали для себя, обыкновенно, более или менее значительных неприятностей... В восемь часов по звонку гувернера садились завтракать. На завтрак нам давалась тарелка молока и ломоть хлеба; в пост (т. е. на первой, четвертой и седьмой неделе великого поста) – ломоть хлеба и стакан сбитня, а впоследствии – чай. После завтрака перед уроками давался отдых (на пансионском языке – «гулянье»). За несколько минут до девяти часов – опять звонок, опять «Ranger-vous», опять становились в пары: маленькие – впереди, большие – в арьергарде, и расходились по классам. К этому времени уже обыкновенно являлись инспектор и классный надзиратель, а приходящие ученики были уже почти все в сборе.

От девяти до половины двенадцатого были два урока, разделенные пятиминутной передышкой, так называемой «малой переменной», а с половины двенадцатого до 12-ти была «большая перемена», во время которой пансионеры уходили в залу завтракать. На этот второй завтрак давалась тарелка бульону с ломтем хлеба. В 12 часов мы опять шли в классы и оставались там до половины третьего; за это время опять проходили два урока, разделенные «малой переменной». Возвратившись из классов, мы садились обедать, причем гувернеры помещались на противоположных концах стола. Инспектор во время обеда, обыкновенно, расхаживал по зале, то молча, то заговаривая с гувернерами или с воспитанниками, то отведавая кушанье. Для него на маленьком столе ставился обед, и пансионеры были глубоко убеждены в том, что инспекторский обед гораздо вкуснее и больше наших порций. Те, кому

удавалось отвеживать кушанья с инспекторского столика, уверяли, что бульон на том столике оказывался наварнее и каша гораздо жирнее...

От трех и до пяти давался отдых. В это время желающие – весной и осенью – могли идти во двор, а зимой иногда ходили гулять по улицам в сопровождении гувернера. Последнего рода прогулок воспитанники недолго любили, и поэтому эти хождения попарно по городу устраивались редко. Во время «гулянья» одни играли, другие занимались чтением, иные мастерили что-нибудь... В пять часов по звонку мы садились за приготовление уроков к следующему дню и корпели над учебниками до восьми часов. Это время – на нашем пансионском жаргоне – называлось «занятиями». Во время «занятий» нельзя было ни разговаривать громко, ни увлекаться посторонним делом, ни расхаживать по зале. Для того, чтобы выйти из залы, воспитанник должен был каждый раз просить позволения у гувернера, т. е., подойдя к гувернеру, молча прикладывая правую руку – ладонью наружу – к правому виску, на что гувернер, обыкновенно, также молча в знак согласия кивал головой. В восемь часов мы садились за чай; на каждого полагались стакан чая и булка – печенья нашего гимназического повара. С восьми часов до девяти часов следовал отдых. В девять часов становились на молитву «по ранжиру» и затем шли в спальни. День кончался...

Наша затворническая, трудовая жизнь разнообразилась лишь редкими приездами «особ» из Петербурга, посещениями родных да отпусками на праздники. Вскоре по поступлении моем в пансион нашу гимназию посетил И. Д. Делянов (ныне Министр Народного Просвещения), бывший в ту пору, сколько мне помнится, попечителем Петербургского учебного округа. Отцы почти никогда не приходили к нам. Посещения же матерей, сестер, теток были, конечно, приятны, но в то же время немало стесняли нас, маленьких спартанцев. Нам словно было стыдно ходить на свидания с матерью или сестрой... Когда пансионер возвращался с подобного свиданья в залу, товарищи, обыкновенно, смеялись, подтрунивали над ним: «Ну что, маменькин сынок! Пирожков принесли? Или пряничков, конфеток?» Прозвище «маменькин сынок» было в числе самых обидных, унижительных эпитетов, так как оно считалось синонимом «неженки, баловня, плаксы»...

На праздники отпускали к родным и знакомым не иначе, как с билетом, на котором родные или знакомые должны были отмечать: в котором часу воспитанник отправился от них в гимназию. Возвращались в пансион в воскресенье вечером или в понедельник утром – не позже девяти часов. Если пансионер опаздывал, то на билете следовало указать причину его неявки в срок. При отпуске на святки, на пасху и каникулы воспитаннику выдавались платье и книги, которые впоследствии и получались от него по записке.

В первые годы моего пребывания в гимназии устраивался перед святками торжественный акт, на котором публично под звуки музыки директором и попечителем гимназии раздавались награды. На этот же случай выставлялись в зале лучшие работы учеников по рисованию. Я никогда никаких наград не получал, на святки в гимназии не оставался, а всегда уезжал к родным в деревню, где и бегал на лыжах, сломя голову, по полям и лесам, занесенным сугробами снега, а длинные святочные вечера проводил над книгами из отцовской библиотеки. Об актовом священнодействии я знаю лишь по слухам и поэтому не распространяюсь о нем...

В церкви за всенощной и обедней пел – довольно недурно – наш гимназический хор под управлением наемного регента. Я пел второго баса. Каждую неделю, сколько помнится, два раза после классов бывали спевки, причем дискантам и альтам иногда доставалось от регента камертоном по голове.

Раз в неделю являлся тоже какой-то военный человек учить нас гимнастике и маршировке – зимою в зале, а весной и осенью на дворе. Маршировку мы недолго любили, а гимнастикой занимались довольно охотно, так как она при существовавших в ту пору условиях – у нас близко граничила с шалостями...

При поступлении моем в гимназию директором был Аникита Семенович Власов (впоследствии директор одной из петербургских гимназий), человек довольно снисходительный к нам, к детям, и художник в душе. Он, говорят, написал прелестный образ Богоматери, который, впрочем, почему-то не мог быть помещен в нашей гимназической церкви, но стоял, будто бы, в алтаре.

Инспектором при Власове был Дмитрий Алексеевич Зяблов. Пансионеры вообще недолюбливали его, как человека сухого, жесткого, мелочно взыскательного. Зяблов любил сечь. Меня он никогда не наказывал, и я лично не видал от него ничего особенно дурного, но тем не менее сильно побаивался его. Ведь он мог миловать и карать всевозможными карами...

В те времена пансионские нравы были грубы и жестоки, и по поводу их по справедливости можно было сказать: «Железный век! Железные сердца!» Тогда в среде пансионеров еще живо сохранялись воспоминания о том, как зимой на льду реки Вологды – близ Красного моста – устраивались кровавые побоища между семинаристами и гимназистами. Боротись, ходили стеной на стену, дрались на кулачках, поленьями, чем попало, и дело иногда доходило чуть не до смертоубийства. Также была еще свежа память о двух братьях-силачах, Н-ных, убежавших из гимназии для поступления в военную службу. Братья были пойманы по дороге к Ярославлю, возвращены в гимназию и жестоко наказаны. Остались они в гимназии после экзекуции или были исключены – не помню.

Как сказание о недавнем прошлом, ходил еще рассказ об одном воспитаннике, который после наказания розгами бросился на инспектора с перочинным ножиком, но был удержан сторожами и затем вторично наказан сильнее прежнего... Один пансионер, желая испытать силу воли, положил на камень большой палец левой руки и сам тяжелой, железной свайкой разбил его. Это происшествие случилось уже при мне.

В ту пору кулачное право – право сильного – в пансионе было еще в полном ходу. Гувернеры, как говорится, походя расточали направо и налево увесистые подзатыльники и драли за уши. Немец-гувернер однажды в пылу раздражения увлекся до того, что даже надорвал ухо воспитаннику. Инспектор наказывал розгами, не взирая на возраст. Старшие ученики колотили младших, и все вообще пансионеры жестоко дрались между собой. Новичку, обыкновенно, шибко доставалось от всех. Помню, какие нравственные и физические терзания пришлось мне вынести в первые дни моего пребывания в пансионе. Даже гувернер, наконец, был вынужден вступить за ошеломленного новичка, хотя гувернеры относились к таким вещам вообще довольно индифферентно... Старшие воспитанники иногда под угрозой колотушек принуждали младших отдавать им свой чай или булку, а иногда и то и другое.

Не проходило недели, чтобы несколько человек не осталось без обеда, без завтрака или без чая; не проходило дня без того, чтобы несколько человек не постояло у стены или на коленях; не бывало такой субботы в течение учебного времени, чтобы не высекли человек 10–15. Одним словом, не бывало такого дня, чтобы кто-нибудь из «маленьких» горько не плакал от истязаний начальства или от побоев своих же товарищей. Из существовавших в пансионе наказаний самыми употребительными были: стояние у стены или на коленях, оставление «без отпуска» и розги. (В карцер садили очень редко и то лишь воспитанников старших классов). За шалости учеников записывали в журнал: в классе – учителя, в пансионе – гувернеры.

В субботу, в начале последнего, четвертого урока, инспектор обходил первые три класса и всех записанных за особенно выдающиеся шалости и тех, у кого в течение недели было более трех единиц, приглашал в гардеробную, где в его присутствии и происходила известная экзекуция. При исполнении этой отвратительной экзекуции главную роль играли два сторожа: Степан и старик Сергей. У Сергея, исполнявшего должность палача, были, разумеется, свои любимцы, которым доставалось от него гораздо легче, нежели тем, которые

не заслужили его благоволения. Я слышал, что Сергей исполнял свое дело с особенным старанием. Этот невзрачный старикашка, малорослый, с длинными руками, с хриплым голосом, внушал к себе пансионерам глубокую ненависть... Я не испытывал этого рода наказания, но, судя по отчаянным крикам, доносившимся из гардеробной, могу думать, что секли иногда очень больно.

Розги – бесспорно, одна из самых темных сторон старой школы. Розги растлевали мальчуганов. Помню, с каким ужасом и стыдом иной шел в первый раз за инспектором в гардеробную и каким жалким, униженным возвращался он после наказания в среду товарищей. После нескольких порок он уже привыкал к позору телесного наказания и из скромного мальчика мало-помалу превращался в отчаянного, бесшабашного нахала...

В памяти моей сохранились две экзекуции.

Один из проходящих учеников V класса, юноша лет 16, был оставлен инспектором без обеда, но ослушался и хотел уйти домой. Инспектор удержал его, а тот ударил инспектора по руке. На крик инспектора сбежались сторожа и преступника увели в карцер. Дня через два после того гимназический совет приговорил наказать его розгами в классе в присутствии товарищей. И его товарищи – пансионеры – вечером были позваны в класс, и виновный при них был жестоко наказан. После того, как бы для исправления, он был помещен в пансион и жил у нас недели две. Он держался ото всех в стороне, ни с кем не разговаривал, хмурился и молчал. По-видимому, он сильно страдал в душе. От него тоже все сторонились, как будто вынесенный им позор публичного посрамления отталкивал от него окружающих. Он смотрел исподлобья, как загнанный зверь; его лицо смугловато-бледное с резко очерченными чертами и с короткими прядями светло-русых волос, нависших надо лбом, было неподвижно и бесстрастно. Он в свою очередь, казалось, платил презрением ко всему окружающему. Пансионеры – да, кажется, и гувернеры – побаивались его, как бешеной собаки... Затем, этот несчастный исчез из пансиона и, сколько помнится, вскоре вышел из гимназии.

Другой случай... Несколько проходящих учеников составили заговор, накупили игрушечных ружей, барабанов, наделали каких-то воинских значков и знамен – и задумали в одно прекрасное утро взять приступом гимназию. И, действительно, в субботу на шестой неделе великого поста заговорщики в начале девятого часа утра собрались у парадного подъезда и с шумом и гиканьем ворвались в гимназию, оттеснили сторожей, старавшихся унять их, и с торжествующими, победными криками пронеслись по широкой парадной лестнице, проникли в коридор и, стреляя из ружей, с барабанным боем прошли по коридору взад и вперед, стуча в двери классов древками значков и знамен. Несколько стекол, помнится, было разбито, вешалки для платья свалены, сторожа жаловались на ушибы. Скандал вышел громадный, еще неслыханный в стенах нашей гимназии.

Некоторые из пансионеров, узнав об открытии военных действий, пришли в волнение и страстно желали присоединиться к нападающим, но гувернеры воспрепятствовали такому соединению армий.

Между пансионерами были отчаянные сорви-головы, и если бы они примкнули к нападающим, то погром принял бы более серьезные размеры. Дело кончилось тем, что главных военачальников в тот же день высекли, несмотря на то, что в их числе попали двое юношей из аристократической семьи. Я был в то время в I классе. У нас шел урок Закона Божия, когда инспектор вел в гардеробную пленных неприятелей. Наш почтенный законоучитель, отец Иоанн Прокошев, вступился за осужденных и, по обыкновению, приложив руку к груди, попросил инспектора простить виноватых ради такого дня (Лазарева воскресенья). Но инспектор не снизошел на его просьбу.

Даже самые игры носили в то время какой-то грубый, жестокий характер. Так, например, одна из любимых игр состояла в том, что кто-нибудь по жребию становился в наклоненной позе, а окружающие хлопали его, и тот должен был угадать: кто ударил его. Угаданный

становился на его место; если же он не угадал, то игра, т. е. битие, продолжалась. Иной злой шутник со всего размаха наносил такой чувствительный удар, что несчастный, не выдержав пытки, со слезами на глазах и весь красный от перенесенной боли, невольно вскрикивал и выпрямлялся. Отказаться же от игры значило заслужить всеобщее презрение и прозвища «неженки, труса и маменькина сынка» и т. п.

Иногда во время вечернего «гулянья», т. е. между восемью и девятью часами – два крайние обеденные стола отодвигались в сторону и таким манером образовывалось значительное свободное пространство. Сюда, как на арену, выходили желавшие померяться ловкостью и силою своих мускулов. За охотниками дело никогда не стояло. Пансионеры – от мала до велика – окружали эту импровизированную арену, стоя и сидя на скамьях и столах, составлявших как бы амфитеатр. Борцы для удобства иногда снимали куртки и засучивали рукава рубахи. Борьба иной раз переходила в довольно ожесточенную драку – к вящему удовольствию зрителей. Дерущиеся иногда сменялись одни другими, и это даровое представление длилось долго – до вечерней молитвы. Зрители аплодировали, любуясь на противников, возившихся на полу в пыли. Гувернеры охотно допускали подобные побоища, а один из гувернеров, немец, даже очень любил их. Заложив руки за фалды вицмундира, он с интересом смотрел на дерущихся и принимал живейшее участие во всех перипетиях борьбы. Он увлекался до того, что начинал иногда подзадоривать противников, науськивая их друг на друга, как собачонок:

– Хорошенько, хорошенько его! Вот так, так... Ай да молодец! а ну-ка еще, еще подбавь! Вот так, так...

И какая-то плотоядная, чувственная улыбка расплзалась по его желтому, сухому лицу, когда который-нибудь из противников наносил особенный меткий, чувствительный удар. В результате этих «гладиаторских игр» оказывались в кровь разбитые носы, подбитые скулы, синяки, оборванные пуговицы и разорванные рубахи и штаны. Разбитые носы и фонари под глазами не принимались в расчет, а за испорченное платье строго взыскивалось...

Широкое поприще для таких грубых, циничных игр представляла также баня, куда нас, пансионеров, водили два раза в месяц по средам. Гувернер, сопровождавший нас, обыкновенно, оставался в предбаннике или уходил на двор, и в бане тогда происходило своего рода столпотворение вавилонское. Тут уж, по поговорке, кто кого смог, тот того и с ног... Любимым делом было подкрасться к товарищу сзади, когда тот набирал воду в таз, и, пользуясь его незащищенным положением, хватит его хорошенько по голому телу так, чтобы искры из глаз посыпались, или обдать холодной водой или с разбегу ударить его в «поджилки» так, чтобы тот моментально растянулся на мокром, скользком полу. Кто был посильнее, тот и озорничал...

Самыми невинными играми были: гусек и игра в тарелочные осколки. Добывалась откуда-нибудь разбитая тарелка, расколачивалась на мелкие неправильные кусочки, и затем играющие брали в горсть по несколько таких кусочков и по очереди бросали вверх таким образом, чтобы их можно было подхватить на наружную сторону кисти руки. Старшие воспитанники играли в шахматы и в шашки.

III

По сравнению с нами, пансионерами, приходящие гимназисты были совсем людьми вольными. Мы, бывало, с завистью и грустью смотрели на них из окон, как они после классов с сумочками и портфелями весело шли по улицам, в одиночку и группами, направляясь к своим домам, где их ждали отец и мать, братья, сестры...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.